

Анна Воскресенская

**Тихий
договор**



Анна Воскресенская
Тихий договор. Книга 3

«Автор»

2026

Воскресенская А.

Тихий договор. Книга 3 / А. Воскресенская — «Автор», 2026

Третья книга цикла. Москва, 1909–1914 гг. Вера и Илья возвращаются в город, который их не ждет: без денег, без жилья, с ребенком под сердцем. Их ждет не тихое счастье, а изнурительная борьба: съемные углы, бессонные ночи, бюджет, просчитанный до копейки. Теперь их трое. Шаг за шагом они выстраивают новую жизнь: растят ребенка, обретают достаток. Меняются и сами: двое закрытых людей учатся быть слабыми друг перед другом и любить не только в молчании. Семей не становятся в один день. Но однажды все, что казалось прочным, окажется под угрозой. И тогда станет ясно, что держит их вместе не прошлое, не клятвы, а ежедневный молчаливый выбор быть рядом. Империя отсчитывает последние мирные годы, трехсотлетие Романовых шумит пиром накануне катастрофы, а в воздухе уже пахнет порохом Первой мировой. Для тех, кто ценит атмосферную историческую прозу и неспешное, психологически достоверное повествование

© Воскресенская А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Первый день	5
Свечи	10
Крепость	15
Ритм	19
Выб	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Анна Воскресенская

Тихий договор. Книга 3

Первый день

Февральское московское утро встретило их гулом, от которого Вера успела отвыкнуть за год никольской жизни. В деревне звуки были единичны и понятны: крики петухов, скрип колодезного ворота, далекий стук топора. Здесь же, на булыжной мостовой, все звуки сливались в один сплошной гул: резкий звонок трамвая, цоканье копыт, крики разносчиков, грохот тяжелых ломовых телег и редкие автомобильные гудки.

Воздух здесь тоже казался другим. Не чистым и морозным, а тяжелым от тысяч труб, извергавших в небо серый угольный дым. К запаху дыма примешивался дух конского навоза, вмерзшего в грязно-коричневый снег, и кислый химический чад Прохоровской мануфактуры. Но сквозь эту завесу пробивались и другие запахи: аромат дрожжевого хлеба из булочной, масляный дух печатной олифы из раскрытых ворот печатни и шлейф духов от прошедшей мимо дамы в соболином мантио.

Они шли по Воздвиженке. У чугунной ограды мальчишка-газетчик, прыгая с ноги на ногу, чтобы согреться, выкрикивал нараспев:

– Новые разоблачения шпиона Азефа! Дума против правительства! Замужние дамы, внимание – новое средство для сохранения красоты! «Русское слово», «Московские ведомости»!

Его пронзительный голос звенел над мостовой. Мальчишка не смотрел на прохожих. Ему было все равно, кто потянется за копеейкой: чиновник в форменной шинели, барыня в мехах, мастеровой с папиросой в зубах или эти двое – высокий мужчина в темном пальто с потертым кожаным саквояжем и молодая женщина с бледным лицом, шедшая за ним.

Москва, которую они покидали еще юными, повернулась к ним своей еще более суровой, равнодушной стороной. Она не помнила ту Веру, что бежала по этим улицам со связкой книг в руке, торопясь в библиотеку. Позабыла ту, что стояла у окна своей комнатки в Большом Афанасьевском переулке, глядя на цветущие липы. Стерла из памяти очертания той, что уезжала с Рязанского вокзала, сжимая в руке билет в один конец.

Этому городу не было дела ни до их прошлой жизни, ни до их нынешнего состояния. Он жил своей сложной деловой жизнью. Пока они шли по улице, никто не смотрел на них и не спрашивал, кто они и откуда. Но стоило попытаться встроиться в общий порядок – снять комнату, получить место или явиться в канцелярию университета – город мгновенно выставил бы счет. Законы Москвы сводились к простому: деньги и документы.

Улица гудела. Мостовая была пестрой от утопанного грязного снега, в проталинах проступал серый булыжник. По улице неслись извозчичьи сани, скрежеща полозьями по подтаявшей мостовой. Вдоль тротуаров тянулась вереница вывесок: писчебумажная лавка со скрещенными жестяными перьями над входом, булочная с золоченым кренделем, аптека с двуглавым орлом на стеклянной витрине. Из распахнутой двери трактира пахло разваренным мясом и кислыми щами.

При переходе на Моховую ветер сразу ударил в лицо – тут, на просторе, он был злее и резче. Илья взял Веру под локоть, уберегая от несущихся колес большой телеги.

– Сначала в канцелярию, – сказал он. – Потом займемся жильем.

Она кивнула.

Они дошли до Манежа. Прямо напротив него, за высокой решетчатой оградой на белокаменном цоколе, высилось здание Казаковского корпуса университета – охристо-желтого цвета, с белоснежными ампирами колоннами. У входа толпились студенты. Они спорили о чем-то,

размахивая руками, и от их дыхания вырывался пар. Несколько юношей в расстегнутых шинелях курили у колесоотбойной тумбы. Откуда-то из толпы раздался взрыв хохота, словно кто-то рассказывал свежий анекдот. Эти звуки были такими вызывающе молодыми, словно не было недавних обысков, арестов и закрытия аудиторий. Студенты шумели назло притаившемуся на углу Моховой городовому, который с подозрением вглядывался в эту излишне оживленную толпу. От этого контраста у Веры на мгновение сжалось сердце.

Они свернули в ворота университетского двора. Здесь, в затишье сквера, ветер утих. Илья остановился у деревянной скамьи, смахнул с нее снег перчаткой. Мягко развернул Веру к себе и заглянул в глаза.

– Посиди здесь, в сквере, – сказал он. – Я быстро.

Вера послушно кивнула. Он ушел, и тяжелые дубовые двери входа захлопнулись за ним с глухим стуком.

Она опустила на холодные доски, плотнее поджимая ноги под подол длинного пальто. К горлу подкатила тошнота, которая здесь, на морозе, сделалась совсем невыносимой.

Она сунула руку в карман и нащарила полотняный мешочек. Пальцы отыскивали сморщенную дольку сушеного яблока. Вера торопливо сунула ее в рот, прижала языком к небу, дожидаясь спасительного кислого сока.

Наконец дурнота отпустила. Она сидела, глядя в одну точку у своих ног, и городской гул теперь доносился до нее словно сквозь толстый слой ваты. Окружающий мир потерял четкость: мелькали смазанные пятна шинелей и пальто, откуда-то сверху доносились голоса. Вера не слушала и не смотрела. Она сидела неподвижно, прислушиваясь к еще крошечному, но уже подспудному факту внутри себя.

В Канцелярии правления пахло пылью, сургучом и бумагами. За высоким дубовым барьером, отделявшим посетителей от столов с бумажными завалами, сидел пожилой регистратор в пенсне. Перед ним лежал громоздкий раскрытый журнал.

– По какому делу? – спросил он, не поднимая головы и продолжая скрипеть стальным пером.

Илья молча выложил на зеленое сукно прошение на имя ректора и сложенный вдвое лист – удостоверение от Сызранской земской управы.

Чиновник взял бумаги, развернул. Машинально пробежал глазами по строчкам, выхватывая отдельные формулировки: *«временно исполняющий обязанности... заведующий сибиреязвенным баракком...»* Проверил дату и подпись на прошении. Снял пенсне, медленно протер стекла очков кусочком замши и снова водрузил их на переносицу. Взял перо, макнул в чернильницу.

– Завтра документы уйдут к господину инспектору, – объявил он, внося запись в журнал. – Приходите к десяти утра.

Илья кивнул. Забрал свой саквояж и вышел в коридор.

Короткий кивок Вере – и они снова двинулись в путь.

Они долго кружили по переулкам Арбата, высматривая в окнах белые листки, приклеенные клейстером. На них значились цифры месячной платы за сдачу комнаты в наем. Тринадцать рублей. Пятнадцать.

В Сивцевом вражке, заметив у арки фанерную вывеску о сдаче комнаты, они свернули во двор серого доходного дома и поднялись на второй этаж.

Сначала звякнул цепочный засов, потом в проеме показался настороженный взгляд. Пожилая хозяйка осмотрела их с ног до головы. Ее водянистые блеклые глаза остановились сначала на Вере, перешли на Илью и снова вернулись к Вере.

– Паспорта ваши позвольте, – сказала она вместо приветствия. – Замужняя? Чтобы в домовую книгу записать как положено.

– Мы собираемся венчаться, – ответил Илья ровно.

– Ишь ты, – поджала губы хозяйка, рассматривая Веру в упор. – Вот обвенчаетесь, тогда и приходите. А без законного свидетельства я вас вместе в одну комнату не пушу. Квартальный надзиратель на прошлой неделе за такое хозяина с другой лестницы оштрафовал, а мне убытки без надобности.

Дверь захлопнулась, лязгнул засов.

Они вышли, остановились у чугунного фонаря. Снег снова начал падать. Илья сунул руки в карманы пальто. В правом лежала подаренная Верой записная книжка и огрызок карандаша, в левом – кошелек со всеми заработанными в Никольском деньгами, немного серебряной мелочи и багажная квитанция с Рязанского вокзала.

– Что ж, – тихо сказал он. – Пойдем к священнику. Без этого нас город вместе не примет.

Они дошли до переулка за Смоленской площадью, где сидели в своих полуподвалах ювелиры, чеканившие серебро при синеватом пламени спиртовой горелки.

Мастер – сухонький старичок с узловатыми руками – достал из ящика два простых серебряных ободка. Металл был тусклым, матовым, будто выцветшим от времени, с едва заметной штриховкой по краю.

– Два рубля, – сказал ювелир. – Не золото, зато честное. Не обманет.

Илья отсчитал деньги: потертые гривенники, пятиалтынные и двугривенные. Мастер сыпал их в ящик, даже не пересчитывая.

Вера примерила свое кольцо лишь на миг. Серебряный ободок скользнул по тонкому пальцу чуть свободнее, чем нужно. Она сняла его и вернула Илье. Пока не время – говорил этот жест.

Они пересекли Садовое кольцо и углубились в переулки Хамовников.

Церковь Николая Чудотворца была знакома Вере с детства. Сюда ее приносили крестить – отец, с гладко выбритым лицом и русыми, аккуратно подстриженными усами, крепко держал ее на руках, а мать в кружевной накидке устало и счастливо улыбалась. Потом, уже после смерти отца, они заходили сюда редко. Лидия Григорьевна торопливо уводила ее дальше, крестясь на ходу, будто боялась, что намоленные стены напомнят о безвозвратном.

И вот теперь она снова стояла на паперти. Морозный воздух пах ладаном, подтаявшим воском, и где-то там, в приходских метрических книгах, была запись о ее собственном рождении.

За тяжелой дубовой дверью их встретил густой воздух, состоящий из смеси олифы, гари от лампадного масла и сырости. Сквозь глубокие амбразуры окон на потемневшие настенные росписи и каменные плиты пола падал скупой февральский свет. Впереди, сквозь арочные проемы низкой трапезной, в глубине храма тускло мерцала золоченая резьба главного иконостаса.

У входа, за высоким деревянным прилавком свечного ящика, сидел сам священник, заменявший отлучившегося причетника. Это был низенький человек с подстриженной клином бородкой, в темной будничной рясе. Он выслушал их, не поднимая глаз от тяжелой книги записей.

– Желаете, значит, обвенчаться? – спросил он наконец.

– Да, – ответил Илья.

Священник сдвинул очки на лоб, медленно, с усилием потер пальцами покрасневшую переносицу и начал привычный, заученный наизусть опрос.

– Какого звания? Из какого сословия?

– Из мещан, – спокойно сказал Илья.

– Дочь титулярного советника, – произнесла Вера.

Священник просто кивнул. Он вернул очки на место, протянул руку.

– Паспорта ваши. И предбрачные свидетельства от приходов.

Илья замялся.

– Мы... из разных мест, – сказал он. – Верины выпиши здесь, в вашем приходе. А моя бумага в Егорьевске осталась.

Священник нахмурился. Он отложил книгу в сторону и поправил ворот подрясника.

– Месяц ждать придется, пока запрос уйдет и бумага из Егорьевска дойдет.

– А нельзя ли скорее? – глухо спросил Илья. – Мы приезжие. С жильем у нас крайние затруднения.

Священник помолчал, постукивая пальцем по столу. Его взгляд на мгновение задержался на бледном, осунувшемся лице Веры, подмечая и ее неподвижность, и то, как ее пальцы застыли чуть ниже ребер, натягивая сукно пальто. Потом скользнул по Илье – по его спокойному, сдержанному лицу. Он опустил глаза в книгу и вздохнул.

– Ладно. Венчание назначим через неделю. Свидетельство ваше, – он кивнул Илье, – донесете потом. Сейчас дадите подписку, что крещенные и под церковным судом не состоите. За временную справку для полиции – полтинник, по квитанции. А выпись... принесете, когда сможете. Месяц вас сроку. Не принесете вовремя – запись в книге неполной останется, консistorия взыщет. Но обвенчать – обвенчаю. Для жилья и прочих дел сойдет.

Они вышли на паперть. Небо совсем потемнело, колючий февральский снег падал крупными хлопьями.

Вернулись к Григорию Савельеву. Тот открыл дверь в наспех, не на те пуговицы застегнутой бумазейной рубашке, держа в руке бритву. По его подбородку стекала мыльная пена. На плече у него висело полотенце, а за спиной мелькнула фигура Елены Степановны. Ее руки выглядели красными, распаренными.

– Ну что? – спросил Григорий, утирая подбородок.

– Через неделю венчаемся, – ответил Илья. – В понедельник.

– Ну, слава Богу! – Григорий улыбнулся и отступил вглубь коридора, приглашая их войти. – Заходите скорее. Елена, распорядись, пожалуйста, насчет чая.

Елена Степановна, на ходу оправляя засученные рукава, засуетилась, забирая у Веры заиндевевшее пальто.

– Садитесь к столу, Вера Петровна, вы совсем бледная... Согрейтесь немного.

Они пили некрепкий горячий чай, Григорий расспрашивал Илью о университетских делах, а Елена Степановна только кивала, придвигая к Вере блюдо с моченой брусникой. Кислые ягоды перебили тошноту, и Вера благодарно улыбнулась ей.

Савельевы предлагали им постелить на полу в кухне, но Илья и Вера только переглянулись. Слишком дорого сейчас было уединение, слишком важно – уберечь ее от неизбежной бытовой суеты чужого дома перед венчанием.

– Спасибо вам, – тихо, но твердо сказала Вера. – Вы нам очень помогли. Но мы снимем номера на эту неделю.

Савельевы спорить не стали. На прощание мужчины пожали друг другу руки, а Елена Степановна помогла Вере надеть пальто.

Гостиница на Каланчевской площади встретила их запахом махорки, мышей и старого дерева. Коридор был узким, с вытертой до ниток грязной ковровой дорожкой.

Два соседних номера оказались почти одинаковыми: железная кровать с провисшим пружинным матрасом, застеленная серым одеялом, старый рассохшийся стул и узкий стол у окна. На тумбе стоял темный жестяной умывальник, над ним висело маленькое мутное зеркало в треснувшей раме. Керосиновую лампу-коптилку коридорный выдал им под залог в пятьдесят копеек.

– До понедельника придется перетерпеть так, – сказал Илья, оставляя коптилку на ее столе. Он помедлил, шагнул ближе и привлек ее к себе – тяжело, неловко, словно пытался закрыть собой от этого прокуренного казенного угла. Отпустил, коснулся ее щеки холодной ладонью и ушел к себе.

Вера закрыла дверь на щеколду. Постояла немного, прижавшись лбом к холодному косяку. Навалилась свинцовая усталость. Она опустилась на кровать поверх колючего одеяла, скинув на пол только ботинки. Сил не осталось даже на то, чтобы умыться.

За перегородкой слышались его шаги, стук выдвигаемого стула, скрип кроватных пружин. Вера лежала, прислушиваясь к этим звукам.

Утром ему нужно будет идти в Канцелярию на Моховой – за ответом инспектора о восстановлении на четвертый курс. Затем предстояло начинать долгий, изматывающий поиск постоянного жилья.

Она не знала точно, сколько денег Илья привез из заволжских степей и сколько осталось от ее скромного учительского жалованья в старом ридикюле. Но теперь Илья становился студентом, заработков впереди не предвиделось, а Москва расточительности не прощала.

За хорошую комнату в тихом переулке в Хамовниках или Пречистенской части требовали платы за два-три месяца вперед, залог за мебель. А за этими тратами уже маячили другие: расходы на практикумы в клиниках, покупка дорогих медицинских атласов, плата акушерке и бесконечные припасы для младенца. Нужно было экономить каждый рубль.

Дурнота схлынула, оставив ровную усталость. Вера закрыла глаза и положила ладонь на еще плоский теплый живот. За стеной все стихло. Их первый московский день закончился. Он не принес облегчения. Просто еще один трудный день.

Свечи

Утро начиналось с неприятного скрежета. Где-то внизу, на мостовой, трамвай проезжал стрелку, и его железный визг проникал сквозь закрытую форточку, будил Веру раньше первых фабричных гудков.

Она открывала глаза и первое, что она видела – был серый квадрат окна, заросший по углам плотной изморозью. Из жаровой отдушины под потолком струился сухой воздух. Ее сразу же начинало мутить, едва она поднимала голову от подушки. Вера научилась пережидать приступ: она лежала неподвижно, смотря в потолок и считая до ста, до двухсот, пока спазм не отпускал. Только потом осторожно спускала ноги на холодный пол.

Илья уходил рано. Университетские жернова закрутили его с первого же дня. Едва восстановившись, он сразу ехал на Девичье поле на трамвае, где профессора вели долгие въедливые разборы больных в новых амфитеатрах клиник. Ему, привыкшему схватывать суть болезни быстро, такая дотошность казалась излишней. Но без правильных разборов заветный диплом было не получить.

Обедать вместе они не могли. Илья не мог тратить время и деньги на обратную дорогу до Каланчевки – на трамвае с пересадками выходило больше часа в один конец. Отрезанный от нее учебой, он обедал в университетской столовой или покупал что-то у разносчиков.

Вера до вечера оставалась одна. В особенно тяжелые дни сил не было даже на то, чтобы одеться. Тогда она лежала на кровати, глядя в потолок и прислушиваясь к своему дыханию и далекому паровозному свисту. В номере было прохладно, пахло пылью, сухой известью и чужим местом. Ни думать, ни читать не хотелось. Ее всегда такой требовательный и жадный до работы ум молчал, и она принимала это молчание почти с облегчением.

Когда сидеть среди отошедших от сырости дешевых обоев становилось совсем невозможно, Вера выходила на воздух. Если день выдавался солнечным и не слишком морозным, она шла в сторону Ново-Алексеевского монастыря. Дорога занимала минут двадцать ленивого хода. Она опускалась на скамью, плотнее запахиваясь в пальто и укутывая шею серым шерстяным шарфом, который связала еще осенью в Никольском.

Здесь было тихо. Бешеный гул Каланчевской площади долетал далеким рокотом. Мимо по расчищенным дорожкам скользили монахини в черных рясах, из дверей храма тянуло ладаном и воском. Вера сидела неподвижно, глядя на голые ветви старых лип и на сизых голубей, нахохлившихся на каменном уступе монастырской стены. Она знала, ради чего терпит эту фоновую тошноту, постоянную слабость и волнение перед тем, что ждет их через неделю. Это знание давало ей силу просто сидеть прямо и дышать.

В другие дни, когда мороз крепчал, она доходила до бесплатной читальни имени Тургенева у Мясницких ворот. За тяжелыми дубовыми дверями ее встречало тепло от скрытого в стенах духового отопления, запах половой мастики, старой бумаги и клея. Она брала у дежурного иллюстрированные журналы и опускалась на стул у самого окна за длинным лакированным столом из дуба. Читать всерьез сил не было – она просто сидела полчаса-час в тепле, разглядывая нарисованные дамские силуэты, схемы выкроек и списки кухонных советов.

Готовить в номере не разрешалось: коридорный следил, чтобы постояльцы не разжигали запретные примусы. Поэтому в зависимости от того, как сильно с утра мутило, Вера выбирала дорогу: в тяжелые дни добиралась только до ближайших лавок, где за полцены покупала вчерашний, слегка зачерствевший хлеб – от запаха свежей выпечки ее мутило, полфунта сыра и кружку молока. В легкие дни шла к Каланчевским торговым рядам за вокзалом.

Здесь город обрушивался на нее оглушительным ором. Торговки истошно зазывали покупателей, лоточники совали под нос товар, мужики толкались локтями, увязая сапогами в грязном месиве из навоза и осколков льда.

Крики и запахи душили ее, к горлу то и дело подкатывала тошнота, которую она глушила яблочными дольками из мешочка в кармане. Пробираясь между кричащими рядами и стараясь не смотреть на прилавки с пирогами, требухой и жареной рыбой, она покупала моченые яблоки, немного моркови и пригоршню квашеной капусты. Спрятав припасы в узелок, Вера торопилась обратно к гостинице. Она плотнее запахивала полы пальто и инстинктивно скрещивала руки на животе, словно пыталась укрыть себя от этой кричащей, толкающейся человеческой массы.

Илья возвращался лишь к вечеру, продрогший и усталый. После клиник он часами обходил Садовую и Арбатские переулки. Он заглядывал в обледеневшие окна первых этажей в поисках белых листков, вылавливал у ворот старших дворников, расспрашивал их, совал грибенники за наводку. Город не уступал. Чистая комната в хорошем месте, с нормальными соседями и аптекой поблизости за разумные деньги не давалась в руки.

Он входил в ее номер, стягивал перчатки и молча опускался на стул. Илья не жаловался, но по его лицу она видела: опять ничего. Он садился рядом, брал ее руку в свою и просто держал, рассеянно гладил ее запястье большим пальцем, иногда разминал суставы, как делал это в Никольском.

На его тихий вопрос: «Как ты?» она привычно отвечала:

– Нормально.

И это «нормально» звучало почти правдиво, пока он был рядом.

Они ужинали тем, что оставалось от обеда. Илья не скрывал адресов: рассказывал, что в хамовнических переулках за просторную, чистую комнату внаем просят неподъемные двадцать рублей, а там, где сдают за четырнадцать – соседи шумные, и на кухне вечно толчея и копоть, ей сейчас в ее положении туда нельзя.

Потом разговор переходил на Девичье поле. Он рассказывал о новом профессоре Рейне, который делал сложную костную резекцию в амфитеатре клиники. Студенты плотно забивали собой нижние скамьи, ловя каждое его движение. Вера слушала, иногда задавала тихие вопросы. Коридорный, получивший от Ильи двугривенный еще на второй день, предпочитал ничего не замечать.

В один из дней у самого крыльца Тургеневской читальни кто-то негромко окликнул Веру по имени. Она обернулась и увидела высокую молодую женщину в простом городском пальто и темной шляпке, надвинутой по самые брови. Лицо показалось знакомым, и когда та приблизилась, Вера узнала ее.

– Лиза? – вырвалось у нее. Голос прозвучал суше, чем хотелось бы.

– Я и думать забыла, что ты в Москве, – Лиза шагнула ближе, всматриваясь в нее с тем особым прищуром, каким разглядывают человека после долгой разлуки. – Сколько же мы не виделись? Ты где пропадала?

– В Сызранском уезде, – ответила Вера. Горло вдруг пересохло, слова выходили жесткими, отдельными. – Учительницей... В земском училище. Год.

Она хотела добавить что-то еще, но к горлу подкатила тошнота. Земля под ногами качнулась. Вера замолчала, ловя морозный воздух мелкими, частыми глотками. На висках выступила испарина.

Лиза, державшая под мышкой потертую кожаную папку, переступила с ноги на ногу.

– Ну, рассказывай. Как ты? Что думаешь делать в Москве?

Вера поглубже убрала пальцы в перчатках в рукава пальто, выпрямила спину и ответила, глядя куда-то мимо лица Лизы:

– Я... выхожу замуж. В понедельник.

Та удивленно приподняла брови.

– Вот так новость. За кого же, если не секрет?

– Старый... знакомый, – Вере приходилось говорить быстро, пока тошнота окончательно не перехватила дыхание. – Из Первой мужской гимназии... Ты не знаешь. Мы общались тогда... потом я уехала. Сейчас... встретились снова. Да...

Лиза не стала расспрашивать дальше. Она вдруг улыбнулась – мягко, заговорщицки, словно просто хотела замять эту затянувшуюся паузу.

– Знаешь, есть такое поверье: во время венчания примечают, чья свеча выше останется. У кого ободок меньше прогорит, тот в доме и станет главным, над всем верх возьмет. Мне мама рассказывала – у нее-то огарок длиннее вышел, так она потом всю жизнь отцом и заправляла. Настоящая глава семьи.

– Вот как? – Вера слегка улыбнулась.

– Так что ты свою свечу ровно держи, – Лиза чуть склонила голову, и в ее глазах мелькнуло что-то теплое. – Не клони.

Они постояли еще немного. Лиза говорила о погоде, о своей нынешней службе корректором в конторе частной типографии на Мясницкой.

– Что ж, удачи тебе в понедельник, – сказала Лиза, крепко пожимая ей руку на прощание.

– Спасибо, – Вера кивнула и толкнула тяжелую дубовую дверь читальни.

Она опустилась на свободный стул у окна, но слова гимназической подруги все еще звучали в ушах. «Чья свеча выше останется...» Ей не хотелось брать верх. Ей хотелось только, чтобы этот бесконечный, изматывающий токсикоз поскорее закончился, а в понедельник, у аналая, ей бы просто удалось устоять на ногах и не упасть от слабости. А свечи – пусть горят столько, сколько им отмерено.

Она раскрыла первый попавшийся затрепанный номер «Нивы» и стала листать лощеные страницы. Все на них звучало как из другой, почти сказочной вселенной:

«...Для салата а-ля принцесс надобно взять три свежих ананаса, вырезать мякоть, смешать с ланспиком осетровым, добавить паюсной икры, каперсов и рубленых трюфелей, после чего уложить все обратно в ананасовые корки и залить майонезом из самых свежих яиц и прованского масла...»

Вера сглотнула. Во рту стало маслянисто, будто она только что сама проглотила ложку этого жирного соуса. Она отвела взгляд от страницы и на мгновение прикрыла глаза, пережидая спазм. Но любопытство оказалось сильнее, и она дочитала до конца, до последней строки, где полагалось *«подавать в холодном виде на серебряном блюде»*. Потом осторожно выдохнула и перевернула страницу.

Дальше было не лучше. *«Скромный завтрак для молодой хозяйки, не требующий от плиты более четверти часа»*: расписные куриные галантины, перепела, фаршированные фисташками и гусиной печенкой, заливное из стерляди под соусом из густых сливок, и картофель, жаренный в гусяном жиру до румяной корочки.

От одного словосочетания «гусиный жир» у Веры сжалось под ложечкой. Она торопливо перевернула страницу, отвернулась к окну и некоторое время дышала ртом, стараясь не думать о масляной пленке, которая, казалось, покрывала ее губы. От каждого печатного слова поднимался густой пар.

Вера перевернула сразу несколько страниц. Пошли моды. Княгиня Мария Павловна на последнем балу в Зимнем дворце – *«в платье из розовато-лилового атласа, отделанном по лиффу и шлейфу гирляндами живых орхидей»*. Вера разглядывала фотографию, пытаясь представить, насколько зябко в таком наряде в февральскую стужу, и как долго горничные, наверное, пришивают эти орхидеи к атласу.

Дальше – реклама *«Пилуль доктора Кесслера, возвращающих аппетит и румянец девицам и дамам в самых запущенных случаях»*. Вера невольно усмехнулась. Аппетит ей точно был сейчас не нужен – от одной мысли о еде воротило, а вот средство от утренней дурноты бы пригодилось.

Потом стихи – Бунина, про зимнее одиночество, про то, что *«замерла жизнь, замерла»*. Она прочла несколько строк, не вникая.

Когда колоколья Фроловской церкви у Мясницких ворот гулко отбила пять ударов, она подняла голову. За окном смеркалось. Пора было возвращаться.

Вера сдала журнал на конторку и вышла на Мясницкую. По пути она зашла в булочную. Илья должен был вернуться из клиник голодным. Вера попросила отрезать половину мясного подового пирога. Приказчик полоснул ножом по хрустящей корочке, взвесил кусок и завернул в плотную серую бумагу. Ломоть был уже остывшим, почти не пах сквозь обертку, и она спрята-
тала его в узелок.

*

В понедельник ударил мороз. Сухой, трескучий, от которого каждый вдох становился острым.

Церковь встретила их полутьмой. После света улицы глаза не сразу привыкли к сумраку. У иконостаса теплились огоньки лампад и горели тонкие восковые свечи. Под тяжелыми низкими сводами их шаги звучали гулко. Пахло горьковатым ладаном, который въелся в камень и дерево за долгие годы, и воском, стекающим по бронзовым подсвечникам.

В притворе их было четверо, не считая самого священника, диакона и псаломщика. Григорий Савельев в застегнутом наглухо пальто почтительно замер у левого клироса. Рядом с ним стоял другой молодой мужчина – со светлыми, зачесанными назад волосами, простым, обветренным лицом и большими кистями. Вера не видела его прежде. Илья коротко представил его:

– Константин Миловидов. С нашего курса. Будет поручителем.

Священник ждал их. На нем была старая, тщательно выглаженная светлая фелонь с потемневшими от времени серебряными галунами. Он держался спокойно, с заученными за десятилетия службы жестами и словами.

Он совершил обряд обручения: надел каждому на безымянный палец по серебряному ободку и трижды переменял их в знак вечного союза. После этого вручил им по тяжелой, толстой венчальной свече. Огонек задрожал от Вериного дыхания, но тут же выровнялся и встал высоким, чистым пламенем.

Под торжественное пение псалма священник повел их за собой из притвора в центр храма, к аналою, на котором лежали крест и Евангелие. Григорий и Константин молча двинулись следом.

Диакон шагнул вперед, взмахнул орарем, и над их головами разнесся его утробный бас:
– Миром Господу помолимся!

Священник повернулся к ним. Его ровный голос раскатился под низкими сводами трапезной, требуя ответа на строгом церковнославянском языке:

– Имаши ли, Илия, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль, пояти себе в жену сию Веру, юже зде пред тобою видиши?

Илья ответил негромко:

– Имею.

– Не обещался ли еси иной невесте?

– Не обещался.

Вера слушала эти же слова, обращенные уже к ней. Она ответила так же спокойно, чувствуя, как голос звучит чуждо, будто со стороны:

– Имею.

– Не обещалась.

Священник взял тяжелые металлические венцы. Савельев бережно опустил первый венец прямо на голову Ильи и замер сзади, готовый подстраховать тяжелую корону. Рослый Миловидов, перехватив второй венец поудобнее, поднял его над Вериной головой на вытянутой руке, стараясь не касаться шляпы.

Началось долгое моление. Вера стояла перед иконостасом, чувствуя, как тепло пламени согревает озябшие пальцы, а внутри разливается покой. Она не молилась. Просто стояла. Слабость никуда не ушла, ноги оставались тяжелыми, ватными, но тошнота ненадолго оставила ее в покое.

Пальцы Ильи крепко сжимали его свечу. Он возвышался над ней чуть не на целую голову, и его огонек горел высоко, почти на уровне ее глаз, отбрасывая тень на темный лик Богородицы. Вера смотрела на это ровное пламя. Вдруг вспомнились слова Лизы – и она опустила свою руку со свечой еще ниже, к самому поясу.

Через мгновение она уловила краем глаза ответное движение. Его рука тоже пошла вниз. Он опустил свою свечу непривычно низко, подстраиваясь под ее уровень.

Константин, державший венец над Верой, заметил этот немой диалог и лишь глубже уткнулся носом в высокий воротник пальто.

Священник поднес им общую чашу с теплым, сильно разбавленным водой кагором, и держал серебряную ножку, поднося край к их губам. Илья сделал первый глоток, затем священник поднес чашу Вере, и так – трижды, пока чаша не опустела. Вино было приторно-сладким. Оно оставило липкий след на губах, а во рту – слабое, вяжущее послевкусие винной кислоты.

Когда священник наконец провозгласил их мужем и женой, Вера не почувствовала ни радости, ни облегчения. На нее навалилась странная, непривычная тяжесть – будто прежняя жизнь закончилась, и теперь предстояло учиться жить с этим новым, еще не обжитым весом.

Они вышли на паперть. Морозный воздух ударил в лицо, и Вера, прикрыв на мгновение глаза, вдохнула его полной грудью. Снег перестал. Низкое зимнее солнце пробивалось сквозь серую пелену облаков, и его бледные лучи золотили купола церкви.

– Ну вот, – сказал Илья спокойно.

– Да, – ответила Вера, глядя на тонкое серебряное кольцо на пальце. Оно было ей чуть велико – от холода руки озябли и сжались. Она машинально повернула ободок.

Поручители, простившись у ворот, торопливо ушли по своим делам. Илья и Вера дошли до Зубовского бульвара и зашли в чистую чайную, где взяли две чашки чая с сушками.

Внутри чайной было тепло, пахло пирогами и табаком. Вера пила чай маленькими глотками, согревая ладони о горячий фарфор. За соседним столиком двое студентов свистящим шепотом спорили о Столыпине, оглядываясь на сонного буфетчика за прилавком, – до Веры долетали обрывки фраз про «разрушение общины» и «хутора». За угловым столом дремал уставший приказчик.

Вечером они вернулись на Каланчевскую площадь. Илья предъявил в конторе гостиницы их паспорта и выданную священником временную справку с круглой печатью Хамовнического прихода. Конторщик, пробежав глазами по строчкам и глянув на свежую приходскую отметку в Вериной книжке, удовлетворенно кивнул. Илья рассчитался за прежние комнаты и перевел их на один общий номер – побольше и с большой кроватью.

Они не обнимались – не было сил. Разделись в полумраке, наскоро умылись у умывальника, погасили фитиль и легли на скрипучие пружины широкой кровати. Здесь впервые за много месяцев можно было раскинуться, не боясь, что среди ночи у крыльца амбулатории бешено закричит верховой из дальней деревни, не нужно было хватать саквояж и ехать к задыхающемуся от холода ребенку, ущемленной грыже или на тяжелые, вторые сутки не разрешавшиеся роды. Сюда, в этот привокзальный номер, никто не мог прийти.

Вера осторожно повернулась на бок, подтянув колени к животу. Сил не было даже на то, чтобы дышать глубоко; мысли вязли, к горлу привычно, глухо подступала дурнота. Илья придвинулся сзади, укрывая ее от сквозняка, и бережно обнял со спины, положив тяжелую ладонь поверх ее озябших пальцев.

Согревшись, Вера почувствовала, как изнуряющий спазм в желудке медленно отступает. Через минуту оба спали от полного нервного и физического истощения.

Крепость

Это был девятый день после венчания. Под вечер за окном их номера разыгрался настоящий февральский буран. В щели рам свистел ветер, а снизу, с улицы, доносился тяжелый металлический скрежет трамвайных колес на обледенелом повороте.

Илья сидел у стола. Его угловатый почерк в записной книжке фиксировал каждую потраченную копейку за эти шестнадцать дней:

- Проезд из Сызрани (на двоих) – 13 р.
- Номера на Каланчевке (расчет за отдельные дни и общий семейный номер) – 17 р. 60 к.
- Обручальное серебро, треба, свечи и временная справка – 5 р. 50 к.
- Текущие расходы (еда, керосин, трамвайные билеты, бумага) – 11 р. 90 к.

Итого: 48 рублей.

Он перечитал цифры. На переносице залегла глубокая складка. При разумной экономии их николевских сбережений должно было хватить надолго. Но за этими короткими строчками был долгий путь: полтора года до диплома, а значит – не будет ни постоянного заработка, ни уверенности в завтрашнем дне.

Он прикрыл глаза и увидел будущее как длинную цепь цифр, которые еще только предстояло записать. Задаток и ежемесячные платы за комнату. Роды, акушерка, приданое для младенца, треба за крещение. Кроватка, коляска, бесконечные пеленки и распашонки, аптека... Все это пока существовало в виде мысленных строк, но цифры роились уже где-то на периферии сознания.

И когда он открыл глаза и захлопнул книжку, пряча ее во внутренний карман тужурки, он знал – теперь эту битву ему придется вести ежедневно. С цифрами, с обстоятельствами, с самой жизнью, которая никогда не даст расслабиться.

Пока они продолжали жить в общем номере. Было тепло, но дышалось с трудом. Из настенного душника шел тяжелый жар от подвальной амосовской печи. Он смешивался с запахом сырости от угловых стен, старого обойного клея, мышиного помета под плинтусами и дешевой махорки, которая пропитала стены. От этой сухости першило в горле.

Каждое утро Илья уезжал на Девичье поле, а после кураторских обходов отправлялся в долгие, изматывающие рейды по городу. Под финансовыми выкладками в его записной книжке шли адреса: *«Сивцев Вражек – 12 руб., утренний самовар. Малый Левшинский – 9 руб., без мебели. Zubовский бульвар – 19 руб., чисто»*. Москва словно проверяла их на прочность.

Вера, свернувшись калачиком поверх шерстяного одеяла, забылась рваным сном. Она дышала мелко и часто, и даже во сне ее рука покоилась внизу живота.

Было тихо. Последний ночной трамвай ушел в депо. Слышался лишь скрип пера, да за окном свистела февральская вьюга.

*

Время тянулось вязко, ни к чему не применимо.

Поборов утреннюю дурноту стаканом молока, купленного в чичкинской лавке, Вера тоже шла «на разведку». Она добиралась до Мясницкой, заглядывала в типографии, библиотеки, доходила до казенных контор Главного почтамта, расспрашивая о месте помощницы или конторщицы. Ей вежливо отказывали или просили зайти весной.

Расспрашивая о вакансиях, Вера с трудом могла вообразить себя на ежедневной службе. Память о земском училище в Никольском казалась далекой, а реальность сузилась до этой выматывающей слабости. Ей казалось, что эта дурнота, сковавшая ее тело, останется с ней навсегда. Что легче уже не станет. Будущее виделось невозможным.

В гимназические годы и позже Вера видела много беременных женщин – соседок, знакомых матери, случайных прохожих. Все они в ее памяти остались спокойными, даже умираю-

творенными, у всех них были округлые животы и медлительная, важная походка. Казалось, что сама природа несет их легко. У нее же все шло наперекор природе. Она чувствовала себя не будущей матерью, а отяжелевшей, беспомощной нахлебницей, которая не может принести дому даже простейшей пользы.

Их сбережения таяли с каждым днем оттого, что приходилось покупать готовую еду в бакалее, а от вечной квашеной капусты, сушеных и моченых яблок, зачерствевшего хлеба, сыра и молока в желудке постоянно стояла каменная тяжесть. Еда не давала сил, от нее еще сильнее мутило. Пробиваясь к тургеневской читальне ради глупого «Модного курьера», она быстро уставала – ноги наливались тяжестью, дыхания не хватало, и приходилось присаживаться на чугунную скамью просто чтобы перевести дух.

Иногда, глядя на то, как Илья по вечерам зажигает лампу, раскладывает свои бумаги и часами что-то пишет, Вера чувствовала глухое, злое раздражение. Он с упрямой сосредоточенностью вычерчивал какие-то температурные графики, сводил таблицы и заполнял бесконечные казенные ведомости, и в этой своей рубашке с закатанными рукавами и со скинутой на спинку стула тужуркой казался неподкупно занятым. У него в каждом его дне был строгий, мужской смысл и понятное дело. У нее же была одна задача, и даже это ее тело отказывалось выполнять как надо.

Вера отворачивалась к стене и сжимала зубы, чтобы не сорваться на глупый упрек. Подступали слезы – беспричинные, злые, от которых становилось стыдно. Когда он гасил лампу и ложился рядом, обнимая ее со спины, она инстинктивно прижималась ближе – казенные духовые ходы в стенах к ночи остывали. Но уже через минуту его тяжелая рука поперек ребер казалась слишком тяжелой, дыхание над ухом мешало, и хотелось оттолкнуть его, отодвинуться на самый край. И становилось тоскливо от воспоминания о первых одиноких ночах в гостинице, которых она больше не вынесла бы.

Днем, когда его не было, становилось легче – можно было не держать лицо, постоять у окна и поплакать от слабости, глядя на грохочущую внизу площадь и слушая далекие паровозные свистки.

Иногда Вера гуляла неподалеку – по тихим Басманным переулкам, по заснеженному Басманному саду, где она сидела на скамейке и смотрела на редких прохожих и голубей. Иногда, набравшись смелости, обходила базарные ряды на Каланчевской площади, сравнивая цены на простоквашу и моченые яблоки. Вокруг толкались, кричали, и в этой всеобщей грубости она ощущала себя беззащитной и чужой и инстинктивно прижимала к животу узелок с покупками.

На площади воздух был тяжелый: смесь конского навоза, махорочного дыма и едкого запаха извести из общественных ретирад. Снег под ногами был коричневым, утопанный в кашу. Извозчики в засаленных тулупах переругивались с лоточницами, мастеровые жевали на ходу, роняя крошки на грязный снег. Тут же бегали синие от холода дети в рваных валенках, и мимо них, звоня бубенцами, проносились зимние кареты на полозьях, с бархатными занавесками на окнах, из-за которых выглядывали сонные, безучастные лица пассажиров.

Этот контраст – между шумной бедностью каланчевских рядов и затаившимся убожеством тихих басманных задворков – был точной картой их нового положения. Они не принадлежали ни к тем, ни к другим. Вся их жизнь пока была лишь временной стоянкой.

*

На восемнадцатый день после венчания Илья пришел в гостиницу раньше обычного. На его осунувшемся от недосыпа лице проступало что-то новое.

– Нашел, – сказал он. – В Большом Левшинском. Дом новой постройки. Хозяин – отставной инженер путей сообщения, сдает комнату сам.

Они доехали на трамвае до Охотного ряда и пересели на конку до Пречистенских ворот.

Дом был новым, из еще не оштукатуренного красного кирпича, с высокими окнами и чугунной кованой решеткой на крыше. Парадное пахло скипидарной мастикой для полов и жилым теплом.

Хозяин – Николай Иванович, отставной инженер лет шестидесяти, – принял их в своей части квартиры: в просторной, почти пустой комнате, где пахло табаком и старыми газетами. У инженера было выбритое лицо с квадратным подбородком и коротко подстриженным, слегка тронутым сединой ежиком волос.

Он бросил на них один оценивающий взгляд, скользнувший по Вере чуть дольше, чем по Илье, и протянул руку за документами. Илья молча положил на стол оба их паспорта и метрическую выписку с круглой приходской печатью – егорьевская бумага дошла два дня назад, и священник наконец закрыл метрическую книгу.

Инженер пробежал глазами по бумагам, кивнул. Он аккуратно прижал документы массивным бронзовым пресс-папье в виде паровоза. Бумаги останутся у него на день, пока старший дворник не перенесет записи в домовую книгу и не зарегистрирует паспорта в полицейском участке.

– Пятнадцать рублей в месяц. Плата вперед за два месяца – тридцать. Вход из коридора, печь голландская исправна, дрова ваши. Водопровод на кухне, прачечная в подвале, отхожее место в конце коридора. Посторонних не водить, тишину после десяти вечера блюсти. Плату вносить до пятого числа. Вопросы?

– Никаких, – сказал Илья.

На следующий день он отсчитал кредитными билетами, золотом и серебром тридцать рублей. Взамен они получили ключ – тяжелый, латунный, с фигурной бородкой. Илья сжал его в руке, чувствуя, как металл нагревается от ладони. Этот вес в его руке значил больше, чем все казенные справки. У них наконец-то появился свой угол. Крепость.

Они перевезли вещи на извозчике. Четыре стены, окно, дверь – пустое пространство, которое предстояло обживать.

Окно выходило в переулок, на теневую сторону. Солнце заглядывало туда ненадолго, после полудня, золотя крышу соседнего особняка за голыми тополями. Из мебели здесь были только широкая деревянная кровать с металлическим изголовьем, стол у окна, два стула, комод да несколько пустых полок вдоль стены. За ширмой из плотной парусины прятался жестяной умывальник, на полу лежал коврик из грубой дерюги. Стены были оклеены чистыми светлыми обоями. Ни занавесок, ни картины – никаких намеков на чужую историю.

Вера провела рукой по стене, ощущая ладонью шершавую бумагу обоев. Навалилось чувство облегчения – будто они наконец дошли до границы этого равнодушного города и отвоевали у него свой клочок земли. Простой, аскетичный, но принадлежащий только им.

Сундук встал у стены под окном. Книжки заняли полки. Граммофон матери поставили на комод. Разгружая чемодан, Вера наткнулась на сшитую еще в Никольском детскую пеленку – и замерла на секунду, сжимая фланель в руке. Затем быстро, почти испуганно, сунула ее в комод, под стопки белья. Не сейчас.

Соседи вскоре обнаружили себя звуками, запахами и короткими встречами в коридоре. За стеной жила Анна Семеновна с маленьким сынишкой – вдова лет тридцати пяти, тихая, сдержанная женщина. Она вежливо кивала Вере в ответ на приветствие и шла мимо по своим делам. Чуть дальше по коридору – пожилая учительница чистописания Мария Леонидовна – она первая заговорила с Верой на кухне, интересуясь, не служат ли они с мужем по учебному ведомству. Молодой чертежник Василий Антонович с женой Надеждой – совсем юной, почти девочкой. Эти постоянно спорили о том, что она тратит слишком много времени на чужие копеечные заказы по шитью, запуская собственное хозяйство. И, наконец, одинокий скрипач из электротeatра у Арбатских ворот – в свободные дни он часами играл на нервах соседей.

Пока Илья пропадал в клиниках, Вера обживала комнату. Она была рада наконец занять руки. Первым делом нужно было закрыть высокие окна на втором этаже – по вечерам, стоило зажечь лампы, их комната оказывалась на виду у всего соседнего особняка через переулок.

В десяти минутах ходьбы от их дома был Смоленский рынок. Вера дождалась двух часов дня, когда утренний рыночный содом утих, добралась до сонных мануфактурных рядов и спокойно выбрала четыре аршина недорогого плотного ситца – молочно-белого, в мелкую синюю полоску.

Вечером она подшила верхний край полотнищ, оставив сквозной продольный карман. Илья продел сквозь эту кулиску толстую веревку и туго натянул ее между откосами и привязал концы к двум гвоздям, вбитым по углам оконной рамы. Комната с занавесками сразу потеплела, сузилась до их собственных стен и перестала звучать гулко.

На второй неделе на подоконнике за полосатыми шторами появилась герань. Черенок сунула Анна Семеновна: «Держите, Вера Петровна. Он живучий, не пропадет». Для горшка Вера приспособила старую банку из-под ландринской карамели, пробила гвоздем дырочки в дне и насыпала земли со двора. Еще через несколько дней герань выпустила первый побег – бледно-зеленый, тянущийся к мартовскому солнцу.

Потом появилась традесканция. Ее подарила Мария Леонидовна со словами: «Это растение для ленивых. Его даже я не засушила». Вера поставила горшок на подоконник рядом с геранью. Длинные стебли свесились вдоль откоса, и теперь по утрам их ветви отбрасывали на стену кружевную тень.

Однажды вечером, дожидаясь Илью, Вера достала из сундука светлые бумажные нитки и взялась за крючок. Она решила связать круглую салфетку на стол. Столбик за столбиком, круг за кругом ложились в тонкий ажурный узор.

Салфетка была не нужна – стол обходился и без нее. Но в ее действии был свой смысл: здесь не просто ночевали, здесь обживались. Когда Вера затянула последний узелок и оборвала нить, она бережно накрахмалила кружево, отутюжила его одолженным чугунным утюгом и расправила ажурный круг на деревянной столешнице.

На салфетку она поставила две пустые фаянсовые тарелки, выложила хлеб и принесла с общей кухни свою эмалированную кастрюльку, укутав ее полотенцем, чтобы горячая пшенная каша не остыла. Поднявшийся от крышки пар впервые за все эти недели не вызвал тошноты, и Вера поймала себя на том, что тоже хочет есть. Теперь оставалось только ждать, когда в коридоре раздадутся его шаги.

Ритм

Изнуряющая дурнота уходила медленно, будто нехотя сдавая позиции. Вера впервые открыла глаза не с мыслью о том, что сначала ей нужно мысленно считать до ста и только потом осторожно подниматься, а с почти забытым ощущением пустого желудка. Она лежала немного, прислушиваясь к себе. Привычного спазма не было. Осторожно села, спустила ноги на пол.

Выйдя за покупками, она поймала себя на том, что, проходя мимо булочной лавки, уже не отворачивается, а присматривается к свежим хлебам, выставленным за стеклом. Запах сдобы тянул зайти. Она вошла, купила теплый калач и съела его прямо на улице – медленно, наслаждаясь вкусом, который уже успела забыть.

Москва пахла иначе. Воздух был сырым, капель гулко лупила по железным карнизам. Утоптаный наст потемнел, сделался ноздреватым, а под ногами уже хлюпала мутная жижа. Вера шла к Смоленскому рынку, подставив лицо по-весеннему теплым лучам, и слушала, как на перекрестках дворники звонко скалывают лед ломами.

Живота почти не было видно. В подаренном им зеркале Вера видела прежнюю себя – стройную, в строгом закрытом платье, которое сидело на ней так же, как в Никольском. Окружающие не могли ничего заметить, кроме легкой бледности, которую можно было списать на усталость.

По вечерам, раздевшись в темноте, она ложилась на кровать и осторожно прижимала ладони к низу живота. Глубоко внутри, над тазовыми костями, чувствовалась плотная округлость. Юбки стали немного жать в поясе, и она переставила металлические крючки на две линии шире.

Вместе с физическим облегчением пришла и решимость. Вера снова вышла «на разведку» – на этот раз поближе к их дому. И удача улыбнулась ей: в тихой библиотеке Педагогического общества на Арбате требовалась младшая помощница. От Большого Левшинского было всего минут пятнадцать неспешной ходьбы.

Заведующая, строгая пожилая дама с седыми волосами в пучке, цепко оглядывала ее поверх очков. Вера отвечала на вопросы спокойно, выпрямив спину и незаметно одергивая подол платья, чтобы широкие складки ткани лежали на животе ровно, без бугров. Она старалась дышать глубоко и ровно, сжимая пальцы под столом.

Ее определили к каталогам. Жалованье положили такое же, как и прежде – двадцать пять рублей. Но для их бюджета и это было спасением.

Теперь Вера часами сидела за столом у окна, вписывая каллиграфическим почерком названия новых книг на плотные картонные карточки. Вела формуляры читателей и разрезала костяным ножом пахнущие свежей типографской краской страницы журналов. Иногда подклеивала развалившиеся переплеты. Для этого она варила на спиртовке мучной клейстер, запах которого был неприятен, но не вызывал тошноты.

В зале было тепло, тихо, посетители разговаривали полупшепотом. В этой академической тишине Вера временно перевела дух.

*

Жизнь Ильи теперь почти целиком переместилась в клиники Девичьего поля. Лекций на четвертом курсе почти не осталось, и студентов полностью перевели на больничную практику.

Земский опыт теперь только мешал. В амбулатории нужна была скорость – вправить застарелый вывих, вскрыть нарыв, наложить швы на разрез от косы. В клинике от студентов требовали знания академической латыни и разбора симптомов по новейшим немецким теориям.

После обеда Илья целые часы проводил на занятиях по оперативной хирургии. Он обнажал артерии и выкраивал лоскуты кожи на трупном материале. Его крупные руки теряли прежнюю уверенность: пальцы плохо слушались, когда он держал тонкие, почти невесомые нейрохирургические пинцеты, а сосудистые зажимы казались непривычно крошечными по сравнению с амбулаторной сталью Кохера.

Вечером студенты собирались в лаборатории. В Никольском у него был стандартный набор: йод, касторка, сулема, настойка опия, спорынья, камфара. Простые припасы он привык готовить быстро, помня объемы визуально. В университете требовали высчитывать дозы до десятых долей скрупула и точных гранов, знать наизусть десятки новых синтетических микстур и сложных иностранных порошков.

В конце марта прибавились частные уроки – латынь, физика, подготовка к выпускным экзаменам. Три-четыре ученика, по полтора рубля за занятие. Он приходил в купеческие и мещанские дома, где терпеливо вдавливал гимназисткам то, что сам восстанавливал по памяти в редкие свободные часы: латинские склонения и спряжения, законы механики, свойства логарифмов и формулы тригонометрического круга.

Университетскую стипендию обещали рассмотреть только после успешных весенних испытаний. Так что старались экономить.

*

В начале апреля снег начал медленно, неохотно таять, обнажая слежалую листву и мокрый булыжник. Воздух стоял тяжелый: пахло мокрой корой и оттаявшей землей.

Жизнь катилась по уже ставшим привычными рельсам.

Утром – овсяная каша на примусе, наскоро подметенный пол, квартирная суэта. Потом – пятнадцать минут до библиотеки Педагогического общества, служба: заполнение карточек, формуляры, проверка книжных полок, сухая уборка полок, костяной нож в страницах «Русского богатства» и «Вестника Европы», кислый запах клейстера. Обед в подсобке: крутое яйцо, хлеб с сыром, иногда – кусок холодной вареной говядины или творог в жестяном судке. Вечер – толкотня у общей плиты, картофельная похлебка с солониной или густые суточные щи на два дня вперед. Воскресенье – растопка дровяного титана в подвале, большой оцинкованный таз и ребристая стиральная доска. Чистка щеткой и выведение пятен с одежды, которую стирать нельзя.

Вера до сих пор замирала на секунду каждое утро, когда открывала конторскую тетрадь явки и выводила на чистой строчке: «*В. Арсеньева*». Фамилия звучала чужеродно. Она всегда была Лагодина – та, что ударила его книгой в Малом Знаменском, хоронила мать на Ваганьковском, ждала Сергея из Одессы, ехала в душном вагоне третьего класса через пол-России. Дочь титулярного советника, личная почетная гражданка. Теперь она была мещанкой Арсеньевой.

Это было падение – или освобождение, она не знала. Прежний статус не давал ей ничего, кроме пустого титула. Он не кормил, не защищал, не давал работу. А теперь она была просто женой человека, который строил жизнь своими руками.

Токсикоз отступил окончательно. Аппетит вернулся. Она ловила себя на том, что ест с удовольствием: щи, гречневую кашу, хлеб с маслом. Это простое телесное наслаждение было непривычным после стольких месяцев дурноты. Она не знала, насколько это нормально в ее положении, но тело забирало свое.

И, будто дождавшись разрешения, оно стало меняться быстрее. Живот слегка округлился. Вера подолгу стояла перед зеркалом и с тревогой разглядывала эту перемену.

Сколько она еще продержится? Заведующая уже несколько раз задерживала на ней долгий взгляд. Может быть, месяц, может, два, и ее вежливо попросят уйти. Беременных не держали. Это было негласное правило, о котором никто не говорил вслух, но ему следовали неукоснительно.

Вера не знала точно, сколько у них осталось денег. Деньги лежали в жестянке из-под чая в ящике стола, он докладывал туда свои рубли с уроков, она – свое жалованье, но никогда не считала всю сумму. Илья вел тетрадь с расходами и молча оставлял ей на столе серебро на день-два, но Вера в его записи не заглядывала. Спросить или открыть жестянку значило бы признать, что она не контролирует ситуацию, что ее жизнь и жизнь их будущего ребенка зависят от цифр, выведенных его почерком.

Он тоже не говорил. Только однажды, в ответ на ее неловкое «хватит ли?» ответил коротко:

– Будем считать, когда прижмет.

Она поняла: он тоже не знает. Или знает, но не хочет говорить. И это молчание, в котором они оба обходили опасную тему стороной, весило больше любых выведенных на бумаге цифр.

Но тело – молодое, сильное, живое – отказывалось жить в постоянном напряжении. Что-то внутри нее менялось, перестраивалось, и эта перестройка рождала небывалый прилив сил. Он поднимался откуда-то из глубины – из костей, из крови, которая теперь текла быстрее, словно ее стало больше. Ей хотелось двигаться, ходить, дышать полной грудью. И – его.

Она не знала, как это назвать. В ее жизненном опыте не было слова для того, что она чувствовала. Тогда, в Никольском, каждое согласие могло обернуться бедой. Теперь, когда беременность случилась, кольца были надеты, а они спали в одной постели – страх исчез. Осталось только желание. Оно просыпалось раньше нее, жило своей жизнью, и она уже не пыталась его урезонить.

В университете как раз начались весенние испытания. Частная патология и терапия, хирургическая патология, акушерство и женские болезни, фармакология с рецептурой, оперативная хирургия и топографическая анатомия. Вера знала эти названия по корешкам его учебников, которые она открывала, пока суп варился на плите. Профессора спрашивали строго: от студентов требовали объяснить патогенез, поставить диагноз, предложить лечение и обосновать его. Будущие врачи сдавали не теорию – право держать в руках чью-то жизнь.

Илья вставал рано утром, пока Вера еще спала. Одевался в темноте, умывался, наскоро завтракал чаем с хлебом и кусочком масла и уезжал в клиники. После экзаменационных разборов ехал к ученикам. Они были разбросаны по всей Москве: один у Никитских ворот, другой на Плющихе, третий на Таганке.

Он не отказывал никому и носился между ними, меняя конки на трамваи. Иногда, если ученик жил далеко – на проезд уходило и по двадцать копеек в день. Илья тратил эти монеты, помня каждую секунду, что двадцать копеек – это четыре полных бидончика чичкинского молока или фунт хорошего творога для Веры.

Домой он возвращался поздно, с красными от недосыпа глазами, пропахший целым ворохом запахов. От его одежды и волос разило карболкой, к этому запаху примешивался запах дорожной пыли, лампадного воска и топленого масла из чужих квартир, чернил и кислой махорки – в трамвайных вагонах и в курилках университета дымили напропалую. Но Вера, чье обоняние обострилось до предела, улавливала сквозь весь этот чужой нанос его собственный запах – теплый, чуть солоноватый. Тот самый, что был в Никольском, только более отчетливый. Этот близкий мужской дух будил что-то внутри. Хотелось – к нему. К его рукам, плечам, к его коже.

После ужина и мытья в большом фаянсовом тазу за ширмой он сразу садился за конспекты и читал почти до ночи. Иногда он засыпал, уронив голову на руку. Вера подходила, мягко клала ладонь на плечо – просто чтобы разбудить и перевести в постель. Он вздрагивал, просыпался, смотрел на нее невидящим взглядом, и она остро чувствовала, как сильно он устал. Как сильно они оба устали. Но когда он ложился рядом, и его рука находила ее руку, усталость отступала.

Они не говорили о чувствах – не умели, а может, слова были бы сейчас неуместны. Но его ладонь на ее пояснице, сбивающееся дыхание, когда она прижималась к нему, говорили больше любых слов.

В темноте было слышно, как тикают его карманные часы на столе, как за окном стучит колотушка ночного сторожа. Они словно были вдвоем против мира, который давил со всех сторон: экзамены, ученики, деньги, которые таяли, и они даже не знали, сколько их осталось. И только здесь они находили единственное убежище. Можно было ненадолго забыть о том, что завтра снова нужно вставать, идти, ехать, сдавать, учить, считать.

Теперь это случалось часто. Четыре, пять раз в неделю, а то и чаще. И он каким-то чудом находил силы. Может быть, потому что чувствовал, что для нее это не прихоть, а такая же потребность, как еда, сон и воздух. Может, потому что это было единственным, что возвращало ему самого себя после бесконечной гонки.

Она не понимала, что с ней происходит. Ей казалось, что она подхватила какую-то странную, постыдную болезнь. Это была почти что зависимость – от его рук, тела, дыхания. Мир за пределами их комнаты переставал существовать. Не было ни соседей за стеной, ни переулка под окнами, ни тревоги, которая сидела внутри, как заноза. Ее уже начинающее тяжелесть тело вдруг обретало неведомую легкость, словно она сбрасывала с себя все лишнее и оставалась только в этой точке: здесь, сейчас, с ним. Она чувствовала себя центром тяжести их маленького мира – той самой точкой, вокруг которой все вращается и без которой все рассыплется.

В какой-то момент, который она не могла предсказать и не могла назвать, внутри все сжималось и разжималось одновременно. Словно кто-то невидимый распускал тугой узел, завязанный под ребрами. Сконцентрированное в глубине живота тепло расходилось медленными волнами к пояснице, к бедрам, к кончикам пальцев на ногах. Она задерживала дыхание, сама того не замечая, а потом выдыхала – с облегчением, почти со стоном. И замирала, опускаясь ему на грудь, чувствуя, как его сердце колотится у ее виска, а его сильные руки держат ее бедра.

Потом – пустота. Его спокойное дыхание рядом, тяжесть его руки на плече. И сон – глубокий, без сновидений, как провал.

Они стали чаще прикасаться. Вечером, когда Илья прихлебывал чай, просматривая конспекты, она могла тихо подойти, встать за его спиной, положить голову ему на плечо. Он, не отрываясь от страницы, находил ее руку и перебирал пальцы. В выходной, когда Вера клала уже начинающие отекать ноги на стул, он, проходя мимо, мог остановиться и помассировать ей ступни. Спокойно, почти по-врачебному, но его пальцы задерживались на ее коже дольше, чем требовала забота, и от этого приятно ныло где-то в глубине живота.

*

Когда неделя выдавалась особенно удачной на уроки и после откладывания пятнадцати рублей для хозяина-инженера, они иногда позволяли себе то, что Вера про себя называла «столичной роскошью». Не кондитерская и не театр – она так называла прогулку до здания Пречистенских рабочих курсов в Нижнем Лесном переулке, где за пять копеек устраивали литературные чтения.

Они входили в тесный зал с низким потолком и простыми деревянными скамьями, отполированными одеждой посетителей до блеска. Внутри пахло керосином, дегтем, мокрым сукном и шерстью – публика приходила прямо с апрельской слякоти и из фабричных цехов. Воздух гудел от голосов. Но когда на кафедре поднимался очередной поэт или прозаик, все замолкали.

Илья шел туда только ради нее, по дороге отпуская саркастичные замечания про словесную эквилибристику, но, уже сидя на скамье, невольно втягивался сам. Вера украдкой наблюдала за ним: как он слушает, чуть склонив голову к плечу, как слегка хмурится, когда строфа кажется ему излишне вычурной, как едва заметно кивает, когда декламатор попадает в точку.

На одном из вечеров читал сухошавый, почти суровый Иван Бунин. Он не завывал и не взмахивал руками. Он чеканил слова так, словно каждое из них было отдельным осязаемым предметом – камешком, листом, каплей дождя.

Вера слушала и ловила себя на непривычном ощущении: ей было спокойно. Она сидела на жесткой скамье. Перешитый пояс юбки врезался в округлившийся живот. Она чувствовала боком тепло Ильи, близость других людей – рабочих, служащих, студентов, курсисток. И впервые за долгие месяцы ощущала себя в своем кругу, частью этого дышащего забитого зала.

В другой раз выступал молодой поэт Андрей Белый – и вот это был уже совсем не классик. В газетах его ругали за кривлянье и декадентство. Он выходил к кафедре, закидывал голову и не читал, а почти пел свои стихи. Вера с замиранием слушала. Это было странно: еще год назад она не могла и представить себя здесь – замужней, беременной, ловящей эти новые, ломанные ритмы.

Потом они выходили в прохладный вечер. Фонари отражались в лужах дрожащими желтыми пятнами, пахло дождем, речной сыростью и мокрыми бревнами от барж на набережной. До дома было близко, но они нарочно шли в обход, к их прежним гимназическим местам и темным пречистенским переулкам.

Шли медленно – она держала его под руку, а он подстраивал свой длинный шаг под ее. И это тоже было не как три года назад, когда Вера возвращалась со службы в библиотеке Общества распространения полезных книг на Большой Дмитровке к себе в Большой Афанасьевский почти бегом, оглядываясь на каждый шаг за спиной. Теперь пустая Москва казалась мирной, надежной и тихой.

Они лениво переговаривались на ходу. О стихах Александра Блока, от которых в груди селилась странная, щемящая тревога. О лекциях того же Андрея Белого, который собирал полные залы желающих узнать: символизм – это мода или религия?

Илья снова называл все это словесным трюкачеством, но Вера видела, что он тоже захвачен этим общим ритмом нового века – просто не хочет признаваться. Она не спорила, только улыбалась сама себе.

В другие воскресные вечера они садились на свободную скамью в сквере Храма Христа Спасителя. Далеко внизу цокали пролетки, а чуть дальше мутная весенняя Москва-река несла талую пену. На противоположном берегу тянулась Берсеневская набережная, залитая закатным светом. Там высились краснокирпичные корпуса кондитерской фабрики «Эйнем» и белоснежная церковь Николая Чудотворца на Берсеневке.

В один из таких вечеров за их спинами прошла болтающая и смеющаяся стайка курсисток. Вера вдруг поймала себя на том, что смотрит на них как на существ из другого мира. Когда-то и она была такой: боялась опоздать на лекцию Кизеветтера, переживала из-за экзаменов. Та девушка, Вера Лагодина, растворилась, исчезла. Теперь здесь, на этой скамейке, в этом городе жила другая женщина. У нее была другая фамилия, другой статус и другая жизнь. И никто не узнавал ее, не окликал и не помнил.

Это было странное чувство. Она больше не существовала для того мира. А ее новый мир весь, целиком, сузился до этого человека, что сидел рядом. До того, кто уже робко плескался внутри. До этой скамейки, этого заката и этого медленного течения реки.

Выб

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.